

## “ДИАЛЕКТИКА” ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА (Достоевский vs. Ницше)

Так уж сложилось в истории русской публицистики и литературной критики, что имена Достоевского и Ницше стали восприниматься как имена мыслителей, близких друг другу не только в отношении тем и сюжетов, но и в отношении обозначенной ими философской проблематики. Повод к такому сближению дал сам Ницше, когда, познакомившись в конце жизни с повестью «Хозяйка», а также – отчасти – с «Записками из подполья» и «Записками из мёртвого дома» Достоевского, назвал последнего единственным психологом, у которого он мог кое-чему научиться. В конце XIX в. Н. К. Михайловский, представляя русским читателям основные идеи немецкого философа, сравнил их с парадоксальными выводами человека из подполья, подчеркнув при этом, что “подпольный человек не просто подпольный человек, а до известной степени сам Достоевский”<sup>1</sup>. Вслед за Михайловским правомерность подобного сопоставления обосновывали, каждый на свой лад и со своими оценками, ряд других писателей (достаточно вспомнить, к примеру, Д. С. Мережковского, Н. Д. Тихомирова, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, Н. Я. Грота). Окончательно эту тенденцию закрепил Лев Шестов, который в своей работе «Достоевский и Ницше: философия трагедии» утверждал, что двух мыслителей сближает и даже роднит одинаковость внутреннего опыта, вследствие чего Достоевский и Ницше “без преувеличения могут быть названы братьями, даже братьями-близнецами”<sup>2</sup>. В последние десятилетия, после второго открытия Ницше в России, такое утверждение получило, как кажется, дополнительное подкрепление в результате исследовательской работы современных философов и литературных критиков<sup>3</sup>. Однако вряд ли его можно считать вполне доказанным: за единодушным желанием отождествить проблематику размышлений Достоевского и Ницше скрывается, быть может, страсть к редукции; последняя, быть может, и является причиной столь удивительной согласованности выводов и стабильности поисков определённым образом заданных “созвучий”<sup>4</sup>.

«Записки из подполья» открывают новую эпоху в творчестве Достоевского, они же являются ключом к пониманию его философских взглядов. Все “боль-

---

<sup>1</sup> Михайловский Н. Литературная критика. М., 1967. С. 226.

<sup>2</sup> Шестов Л. Достоевский и Ницше: философия трагедии // Избранные сочинения. М., 1993.

<sup>3</sup> См., например: Дудкин В.В. Достоевский – Ницше: проблемы человека. Петрозаводск, 1994; Давыдов Ю.Н. Два понимания нигилизма: Достоевский и Ницше // Вопросы литературы. 1981. № 9; Скворцов А. Достоевский и Ницше о Боге и безбожии // Октябрь. 1996. № 11.

<sup>4</sup> Под “поиском созвучий” подразумевается известная практика анализа творчества Достоевского, о которой идёт речь в статье А.Козырева «Новый альманах о Достоевском», опубликованной в журнале «Новый мир» №12 (1996): сопоставление героев Достоевского с персонажами иных эпох и литератур с целью выявления архетипов литературного процесса. Результатом такого поиска стало, в частности, отождествление В.В.Дудкиным Великого инквизитора Достоевского и Жреца Ницше.

шие” романы писателя («Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» и др.) уже полностью продуманы здесь, в этом сравнительно небольшом, но насыщенном смыслом произведении, и особенно в его первой части – «Подполье». Подпольный человек сам – без помощи и посредства автора «Записок...» – рекомендует себя читателю, самостоятельно пытается проанализировать свои воззрения, прояснить парадоксальность выводов и найти причины, обусловившие их закономерность. Размышления подпольного человека, его *исповедь* далеко неоднозначны; во всяком случае, они заслуживают самого пристального внимания. И не только для того, чтобы, как предлагал В. В. Розанов, “решить, наконец, вопрос: верна ли данная мысль, или она ложна, и почему? и решить это совокупными усилиями, решить обстоятельно и строго, как это доступно только для науки”<sup>1</sup>. Вопрос об истинности и ложности слишком прост и прямолинеен: прост, потому что отказывает читателю во множестве “промежуточных” решений, призывая его довольствоваться *формулой* вместо *беспрерывности процесса достижения*; прямолинеен, потому что не понимает, о чём, собственно, идёт речь. Очевидно, что подпольные мысли не могут быть ни истинными, ни ложными – но разве не на этом основании они-то и считаются мыслями?

Крамольные умозаключения «Подполья» завораживают своей “обратной” логикой: из данных посылок следует совершенно неожиданный вывод, противоположный тому, который должен бы быть; рассуждение движется вспять, разрушая исходные положения, превращая основания в то, что ещё требуется доказать, и т.д. до бесконечности. Что это: следствие расстроенности, болезни духа, – “патология”, как считал Михайловский<sup>2</sup> (ведь признаётся же сам герой, что он *человек больной*, что у него *болит печень*), или же нам следует согласиться с Шестовым, что мышлением подпольного человека “владеет сила бесконечно более могучая, чем он сам”<sup>3</sup>? Очень трудно решить, насколько то, о чём говорит в своей исповеди бывший коллежский ассессор, продумано им, насколько одно утверждение согласуется с другим, пусть даже и противоположным, утверждением. А вдруг здесь вообще нет никакой связи? – и, следовательно, никакой философии? Вполне может оказаться, что нас просто решили *языком подразнить* или только *кужиш в кармане показывают*, уверяя, что *рассуждают серьёзно*. Выход здесь, кажется, только один: не спешить признавать подпольного мыслителя *сумасшедшим* и не торопиться объяснять его парадоксы иррациональностью человеческой природы, а попытаться связать все его разрозненные утверждения в одно целое, с тем чтобы эксплицировать открытые для него философские проблемы.

Многие интерпретаторы творчества Достоевского указывали на наличие определённой последовательности в рассуждениях подпольного человека, предполагая тем самым существование соответствующей философской пози-

---

<sup>1</sup> Розанов В.В. О легенде “Великий Инквизитор” // О великом инквизиторе. Достоевский и последующие. М., 1991. С. 96.

<sup>2</sup> Михайловский Н. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900. Т. 2. С. 464.

<sup>3</sup> Шестов Л. На весах Иова (Странствование по душам). Париж, 1929. С. 34.

ции, тщательно продуманной и аргументированной. Так, Н. А. Бердяев называл его миросозерцание “диалектикой”<sup>1</sup>, Розанов – “гениальной диалектикой”<sup>2</sup>, А. З. Штейнберг – “симфонической диалектикой”<sup>3</sup>, а Шестов считал «Записки из подполья» настоящей «Критикой чистого разума», утверждая, что Достоевскому удалось превзойти самого Канта. “Диалектика Достоевского, – писал Шестов, – как в «Записках из подполья», так и в других его произведениях, может быть свободно поставлена наряду с диалектикой какого угодно из признанных европейских философов, а по сложности мысли – я этого не боюсь сказать – едва ли многие из избранных человечества сравниваются с ним”<sup>4</sup>. Кажалось бы, можно охотно поверить Шестову и согласиться с другими философами, сузив задачу прочтения «Записок...» до уяснения содержания диалектической философии подполья. Настораживает, однако, одно обстоятельство: то, что эти же авторы высказывались в пользу утверждения о существенной близости философской проблематики Достоевского и Ницше. Нужно, поэтому, сопоставить воззрения этих двух мыслителей, чтобы сделать вывод как об их отношении друг к другу, так и о философии Достоевского в целом.

На первый взгляд, в «Подполье» представлена целая экспозиция философских понятий и тем Ницше. Это – сразу же – “злость”, “болезненность”, “месть”, “Я” (как предмет разговора *порядочного человека*), деление людей на “непосредственных” и “думающих”, разрушение “оснований”, в том числе и собственной субъективности, критика “логистики” и рационализма, противопоставление “жизни” рассудку, даже своего рода “волюнтаризм” – признание невозможности рассчитать “каприз” человека согласно “законам природы”, и т.д. Кроме того, нельзя не заметить и внешнего сходства размышлений подпольного человека и Ницше: это и постоянная самоирония, и отказ от систематического изложения мыслей (*порядка и системы заводить не буду; что припомнится, то и запишу*), и столкновение формально противоречащих друг другу утверждений (*Итак, да здравствует подполье!.. К чёрту подполье!*), и постоянное дистанцирование от сказанного, боязнь определённости (*я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настроил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник*). Созвучны философии Ницше и издёвки над “идеализмом”, ставшим причиной появления *мертворождённых общечеловеков*, и призыв к человеку быть человеком, т.е. не стыдиться *собственного тела*, а также понимание справедливости как непосредственной мести. При желании перечень точек соприкосновения проблематики Достоевского и Ницше можно продолжить. Хочется, пожалуй, даже сделать вывод, что русскому писателю действительно удалось сформулировать и продумать те проблемы, которые волновали немецкого философа, – и, к тому же, предложить удовлетворительное их решение (чего, как известно, Ницше сделать не удалось). А если принять во внимание последующие произведения Достоевского,

---

<sup>1</sup> Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. С. 52.

<sup>2</sup> Розанов В.В. О легенде “Великий Инквизитор”. С. 89.

<sup>3</sup> Штейнберг А.З. Система свободы Ф.М.Достоевского. Берлин, 1923. С. 35.

<sup>4</sup> Шестов Л. На весах Иова (Странствование по душам). Париж, 1929. С. 49.

то как не согласиться тогда с Н. Я. Гротом, авторитетно утверждавшим ещё в конце XIX в. в редактируемом им журнале «Вопросы философии и психологии», что Ницше лишь повторяет сказанное до него героями Достоевского и апеллирует к тем положениям, несостоятельность которых давным-давно уже доказана<sup>1</sup>?

Однако при более внимательном прочтении подпольных размышлений обнаруживается не только их отличие, но и принципиальная несовместимость с философией Ницше. То, что так похоже друг на друга внешне, оказывается противоречащим друг другу по существу, и причём так, что в результате экспликации этого противоречия утрачивается всякая возможность даже отдалённого сближения данных мыслителей. Чтобы обосновать этот вывод, рассмотрим несколько ключевых положений подпольной философии в их сравнении с философией Ницше.

В набросках к роману «Подросток» Достоевский позволил себе прямо высказаться относительно существа мышления подпольного человека: “Причина подполья – уничтожение веры в общие правила. *“Нет ничего святого”*.” Как тут не вспомнить известную фразу Ницше, которой открывается его «Воля к власти»: “Что обозначает нигилизм? *То, что высшие ценности теряют свою ценность*. Нет цели. Нет ответа на вопрос “зачем?””<sup>2</sup>, и не сравнить подпольного человека с ницшевским нигилистом? По форме эти высказывания очень похожи друг на друга, а слова Достоевского, выделенные курсивом, содержательно тождественны словам, которые выделил курсивом Ницше. Однако не будем спешить вырывать фразы из контекста и посмотрим на то, что говорится дальше. Достоевский объясняет нам, что подполье трагично, потому что попавший в него обречён на страдание, самоказнь без малейшей надежды на лучшее: нет ни награды (*не от кого*), ни веры (*не в кого*). В такой ситуации человек думающий, по мысли Достоевского, неминуемо становится преступником: “Ещё шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство)”. Следовательно, подполье, т.е. состояние отказа от святости как смысла и меры существования, является причиной греха, аморальных действий. Другими словами (вспоминая знаменитую фразу Ивана Карамазова), если Бога нет, то всё дозволено, причём под этим “всё” следует понимать “всё дурное, преступное”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Грот Н.Я. Нравственные идеалы нашего времени: Фридрих Ницше и Лев Толстой // Вопросы философии и психологии. № 1. 1893. С. 148.

<sup>2</sup> Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994. Стр. 36.

<sup>3</sup> Удивительно, что внутренне противоречивая фраза “Если Бога нет, то всё дозволено” стала широко распространённой аллюзией для указания на пагубность атеистического мировоззрения. Между тем очевидно, что здесь нельзя говорить ни о какой импликации, потому что тот же вывод следует и из противоположной посылки. Фраза “Если Бог есть, то всё позволено” так же истинна, о чём свидетельствует, например, Великий инквизитор Достоевского: католический первосвященник не отрицает существование Бога, более того – он знает это, но данное обстоятельство никак не мешает ему арестовать пришедшего в мир Иисуса и собираться казнить его. А подпольный человек тут бы добавил, что свобода человека в том и состоит, чтобы иметь право желать себе наихудшего.

Разумеется, такой вывод не может не казаться странным. Если же теперь обратиться к Ницше, то легко будет убедиться и в несостоятельности подобного умозаключения. Действительно, отсутствие общих правил (правил вообще) и святости как ценности, определяющей осмысленность поступка (любого поступка, в том числе – и прежде всего – “аморального”, “преступного”, ибо на каком основании мы назовём его греховным, как не на основании сравнения с идеалом святости? где найти *черту*, чтобы её *переступить*, или *последнюю ступень*, чтобы её разбить?), может привести только к бездействию, к невозможности что-либо совершить – как “плохое”, так и “хорошее”. Ситуация, характеризующаяся резким поворотом назад от “Бог есть истина” к фанатической вере “Всё ложно”, предполагает, по Ницше, “буддизм *дела*”, “стремление в ничто”<sup>1</sup>, в котором уже нет ничего определённого, морального. Очевидно, что чтобы совершить *преступление*, и тем более *убийство*, нужно всё ещё оставаться достаточно моральным человеком и, следовательно, удерживать *святость* в качестве ориентира своих поступков. Да и разве самые страшные преступления, какие только знает история, совершались не во имя и не от имени святости? И не потому ли мост, соединяющий *преступника* и его *перерождение*, оказывается не только возможным, но и достаточно крепким, чтобы по нему пройти (один из любимых сюжетов Достоевского)?

Ницше, оставаясь последовательным и продумывая ситуацию нигилизма в её существе, а не с априорной уверенностью в её порочности, приходит к совершенно противоположным выводам. Крайнюю форму нигилизма – взгляд, что “*всякое* верование, *всякое* признание чего-либо за истинное неизбежно ложно,” – он называет “*божественным образом мысли*”<sup>2</sup>. Любое положительное утверждение – это уже клевета на жизнь, подмена её существованием, редукция. Разумеется, без такой клеветы человек не сумел бы прожить и дня, потому что он сам – как человек (человек культурный, сознающий себя субъектом, обладающий именем и смыслом своего существования) – появился в результате слепой веры в мораль и является, по сути, этой же клеветой. Человеческое в совокупности составляющих его смыслов представляет собой опыт систематической лжи, и только вырвавшись из-под её опеки, можно позволить себе мыслить честно. А это, как известно, уже привилегия богов: падение морального мироистолкования и внезапное откровение, что “*всё лишено смысла*”<sup>3</sup>, *убийственны* для человека. Но не могут, вопреки мнению Достоевского, побудить его к *убийству*. Нигилизм – это “*наичестнейшая и сострадательнейшая эпоха*”<sup>4</sup>.

Тень Заратустры, уставшая бежать за ним, так объясняет причины своей усталости: очень трудно скитаться по свету *без цели и без родины*, руководствуясь лишь одним убеждением, что “нет истины, всё позволено”<sup>5</sup>. Эта максима *вольнодумца* и *странника* позволяет сначала избавиться от благородной

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. Воля к власти. Стр. 35.

<sup>2</sup> Там же. Стр. 42.

<sup>3</sup> Там же. Стр. 35.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Сочинения в 2 тт. Т. 2. М., 1990. Стр. 197.

лжи – изолгавшейся невинности добрых, а потом благословляет на всё *запретное, дурное и дальнее*. Она же даёт *право* на преступление, объявляя единственной добродетелью *не бояться никакого запрета*. И вот, пограничные столбы свалены, идолы опрокинуты, самые опасные желания осуществлены, не осталось ни радости, ни счастья, ни любви. А взамен – пустота и бездомность, бесконечность движения без последней пристани, принципиальная лишённость места и *усталое, дерзкое сердце, беспокойная воля, разбитый хребет*. Нет ни награды, ни избавления, а только *вечное везде, вечное нигде, вечное напрасно*. Как тут не посочувствовать тени Заратустры и как не сравнить её участь с печальной судьбою подпольного человека? Да и разве могло быть иначе: чрезмерно завышенное самомнение, гордыня – без боли падения и разочарования, презрение к другим – без потери любви к себе, а преступление – без наказания? И разве не говорится об этом в романах Достоевского?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует внимательнее прислушаться к жалобам тени. Она говорит: “Слишком часто, поистине, следовала я по пятам за истиной: и она давала мне пинка. Много раз думала я, что лгу, и только тогда прикасалась я – к истине”<sup>1</sup>. Итак, истина оказывается принципиально недостижимой как предмет знания, т.е. как то, благодаря чему знающий получает возможность объективно судить о происходящем, называть вещи своими именами и т.д. Любое “открытие” или “постижение” истины основано на фальсификации, сознательной или наивной, что приводит к изменению статуса суждения: оно становится осуждением и не допускает альтернативных решений. И не важно при этом, о какой “открытой” истине идёт речь: что известна сейчас, или станет известной в будущем, или в принципе может быть известной (пусть даже и не человеку, с его несовершенным аппаратом познания, а Мировому Разуму, Богу и т.п.). *Нет истины* – это значит, что её нет как истины, оторванной от человека, противопоставленной ему в качестве цели познания, смысла жизни, мерила зрелости и добра, эталона поведения. Отсюда следует, что *всё позволено*. Вседозволенность, однако, не является синонимом порочности или брутализма: она мыслится не в этическом, а в метафизическом плане. Преступление оказывается невозможным, потому что истина находится не за пределами человеческого, а внутри его, будучи одним из фундаментальных его элементов, а значит – ложью, состоявшейся фикцией. Вот почему тень Заратустры признаётся ему, что *прикасается* к истине лишь тогда, когда *лжёт*: честно лгать и утверждать истину суть одно и то же.

Что же отвечает Заратустра своей тени? Он понимает, что все её стенания обусловлены тяжестью отсутствия смысла – утратой, которая кажется невозместимой, серьёзной, трагической. И действительно, тень слишком серьёзно относится к потере истины – так серьёзно, что незаметно для себя превращает своё убеждение “нет истины” в утверждение, в догму, т.е. в Истину. Заратустра советует тени не сокрушаться об утрате, а *прошутить* её: в противном случае придётся погибнуть, или сойти с ума, или – что хуже – попасться в сети какой-то *узкой вере, жестокому заблуждению*. Наихудшим заблуждением из

---

<sup>1</sup> Там же.

всех возможных как раз и является *вера* в то, что *нет истины*, – это кредо *пассивного* нигилизма, замечающего бессмысленность сущего и сохраняющего смысл за ничто, в результате чего оно (ничто) ускользает от мысли и руководит ею, выхолащивает её. Нужно поэтому дистанцироваться от ничто, *преодолеть* его – и тогда отрицание сущего сменится его утверждением, угрюмость – весёлостью, отсутствие цели откроет бесконечное множество целей, и пугающее поначалу своей откровенностью “всё позволено” станет залогом положительного творчества. Под прикрытием ночи Заратустра убегает от своей тени, чтобы *веселиться* и *танцевать*; ночь – это тоже тень, но уже не человека: в глубине этой ночи *светло*, и поэтому спать нельзя, нужно оставаться всегда *на ногах*. Танец ночью, когда тень человека спокойно отдыхает в пещере, – это способ выйти за пределы человеческого, слиться с Первоединым. В достижении такого экстатического единства и заключается, пожалуй, основная задача человека мыслящего, каким его видит Ницше.

Такие ли задачи ставит перед собой подпольный человек, несчастный обладатель *усиленного сознания*? И может ли он вообще их поставить? Разумеется, нет. Метафизический мирок Достоевского, в котором живут и мучаются герои его романов, слишком узок: он насквозь морален, подслащен и горьковат, а зачастую и пошл. Это только кажется, что в нём *нет ничего святого*: на самом деле в нём-то оно как раз и бывает. Ведь дело совсем не в том, что *общие правила* нарушены, а в том, что они остаются правилами, хоть и нарушенными, и продолжают влиять на читателя, подсказывая ему истинное решение “парадоксальных” вопросов. Очень показательным в этом отношении является тот факт, что Достоевский сам иногда предварял свои произведения (или же публичные чтения их) кратким пояснением того, о чём, собственно, пойдёт речь, что следует читателю прочитать, а слушателю – услышать. Так, например, выступая на литературном утрене в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. перед чтением главы «Великий инквизитор», он объяснил *причину* страдания сочинителя поэмы – Ивана Карамазова, *смысл* безверия инквизитора и т. д. Аналогичным образом, «Записки из подполья» тоже начинаются примечанием автора. Создаётся впечатление, что Достоевского – как мыслителя – интересовали скорее не все возможные выводы из заявленных утверждений подпольных философов, не сама их аргументация, предполагающая осмысление существа сознания подпольного человека, а только выяснение способов морального осуждения шокирующих и, тем не менее, весьма убедительных тезисов (*хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца – полно, правильного сознания не будет*). Все интерпретации он стремился свести к одной, единственно верной, исходящей из противопоставления *древнего апостольского православия* и *католического мировоззрения*, т.е. *высокого* и *низкого* взгляда на христианство, на человека и т. д. “Нравственные бунтари” Достоевского никогда не осмеливаются выйти за рамки морали, чтобы посмотреть на неё со стороны: они настолько сдавлены моралью, подчинены ей, что даже самые крамольные их поступки связаны не с отрицанием метафизического порядка сущего, а с его неприятием (так, Иван Карамазов, признавая существование Бога, отказы-

вается принять созданный им мир, в котором за будущую гармонию нужно заплатить слезою невинного ребёнка). По мысли Достоевского, отрицание Бога просто невозможно, так как подобное действие свидетельствует о неразвитости морального чувства, а не о самостоятельности мышления: *грубые атеисты* ещё не доросли до того, чтобы в Бога поверить, не говоря уже о том, чтобы осознать нелепость его отрицания.

Очевидно, что такая позиция несовместима с философией Ницше, с его критикой христианской морали и высших ценностей. Ставить в один ряд Достоевского и Ницше, ссылаясь на то, что оба они предметом своих размышлений сделали известную практику “нравственного бунта”, или отождествлять Ницше с В. С. Соловьёвым – на том основании, что сверхчеловек чем-то очень похож на богочеловека, – это значит исказить взгляды Ницше и не только его<sup>1</sup>. Если следовать логике рассуждений немецкого философа, то необходимо было бы признать, что и Соловьёв, и Достоевский являются носителями наивно-нигилистического сознания, характеризующегося слепой верой в мораль и – как следствие этой веры – клеветой на жизнь, её осуждением, отрицанием. Наивный нигилизм представляет собой наиболее распространённую стратегию интерпретации сущего (а именно, христианско-моральное толкование) и, как известно, вызывает самое критическое отношение со стороны Ницше. Наивный нигилизм отличается от других его форм (пассивного, активного нигилизма) тем, что ещё не продумывает существо *высших ценностей*, а только руководствуется ими; непродуманной остаётся и *правдивость* – роковая для морали ценность, позволившая впоследствии интеллектуально честным мыслителям усомниться в ценности самой морали.

В подполье Достоевского нет одного – главного: честности (“*Ложь, ложь и ложь!*” – говорит о своих размышлениях сам подпольный человек, предугадывая реакцию рассудительного читателя. И как тут ему не поверить, тем более если он действительно читает?). Конечно, автор «Записок...» оговаривается в примечании, что и герой, и его записки вымышлены, но тут же добавляет, что сочинитель таких записок не только *может*, но и *должен* существовать в нашем обществе, “это – один из представителей ещё доживающего поколения”. Выходит, что подпольный человек – это не шарж, не издёвка, а реалистическое, правдивое описание пусть даже и парадоксально мыслящего, но всё-таки живого человека (*и хоть врёт, да живёт*). Провести читателя по всем лабиринтам подпольной мысли, показать, по возможности, все её тупики и в конце концов указать выход – такова, должно быть, задача писателя. Читателю остаётся только пройти, посмотреть, ужаснуться, задуматься и... сделать единственно верный вывод.

Одним из самых интересных рассуждений подпольного человека являются его уверения в том, что он, будучи человеком сознающим, не может удостоить себя никакой определённости – например, *сделаться злым*, или *добрым*, или *подлецом*, или *честным*, или *героем*, или, на худой конец, *насекомым*. Причи-

---

<sup>1</sup> Такое отождествление обосновывалось в работах Мережковского «Не мир, но меч» и «Революция и религия».



ной этому выступает специфика мышления, состоящая в том, чтобы не принимать на веру в качестве оснований ничего готового, самостоятельно не продуманного. Традиционная ошибка *спокойно и уверенно* мыслящих людей заключается в том, что они останавливаются на ближайших и второстепенных причинах, полагая, что нашли непреложные основания своему делу. Благодаря такой уверенности они получают возможность действовать, а также определять себя как субъекта действия; следовательно, они способны сделаться или злыми, или добрыми и т. д., в зависимости от того, какое действие они собираются совершить. Но что же получится, если попытаться найти основания для оснований, принятых ими на веру? Такое *упражнение в мышлении* не сулит ничего хорошего: основания размываются, исчезает последняя почва, на которой ещё можно стоять, и человек мыслящий сталкивается с актуальностью дурной бесконечности. Результат очевиден: *мыльный пузырь и инерция*. Это губительное для человека состояние: оно парализует не только его действия, но и мысли. Человек не может ничего ни начать, ни окончить – и только гордится своей неспособностью; он ничего не делает, но его нельзя назвать *лентяем*: лентяй – это уже *звание и назначение*, желанная определённость, стимул к нормальной жизни, возможность стремиться к *прекрасному и высокому*. Лентяем нужно ещё стать, а значит, найти основания для такого действия. Однако здесь возникает ряд вопросов: неясно, почему мы должны непременно отыскивать *первоначальную причину*, а не успокоиться на второстепенных? в чём превосходство *болтовни*, т.е. *умышленного пересыпания из пустого в порожнее*, и почему мы человека инертного, неспособного к действию, а также к определению самого себя, должны считать *умным*, намного умнее всех остальных?

Подпольный человек отвечает на эти вопросы следующим образом. Люди делятся на два класса: одни – непосредственные деятели (их большинство), другие – думающие, или сознающие, и поэтому ничего не делающие. Первые – это люди настоящие, нормальные, *природные и здоровые*; они достаточно глупы для того, чтобы жить и радоваться жизни, добиваться в ней определённых успехов. Вторые, напротив, вышли не из лона природы, а из реторты, – это *ретортные* люди, т.е. искусственные, *больные*, а в силу этого не способные жить просто, не озадачивая себя глупыми вопросами и сомнениями. Собственно люди, *l'homme de la nature et de la vérité*<sup>1</sup>, живут открыто, ни от кого не прячась и никогда не кривя душой, а если случается так, что их обижают, то мстят сразу же, не откладывая, считая такую месть справедливостью. Ретортные люди в подобных обстоятельствах всегда пасуют, потому что просто боятся своих обидчиков, ибо те сильнее их; но жажда мести не исчезает и со временем растёт, становится всё больше и больше, превращается в смысл существования обиженных. Сначала оскорблённое чувство собственного достоинства заставляет ретортного человека усиленно думать, сознавая своё несчастное положение, и в результате приводит к тому, что ретортный человек честно признаётся себе, что он всего лишь *мышь*, а не человек, и что место ему – в подполье. Ус-

---

<sup>1</sup> Человек природный и действительный (фр.)

кользя от плевков и насмешек здоровых *диктаторов* в *волючее* и *гадкое* подполье, прибитая и осмеянная мышь погружается в холодную и вековечную *злость*. Здесь, в подполье, она живёт жаждой мести, изобретает хитроумные средства для её реализации; постоянно питаюсь ядом неудовлетворённых желаний, сознающая мышь научается находить удовольствие в своём страдании, наслаждается им и считает такое наслаждение, недоступное, разумеется, людям непосредственным и здоровым, явным признаком своего превосходства. И действительно, она превосходит их: люди природные живут по законам природы, всецело подчиняются им и даже в мыслях не допускают возможности что-нибудь сказать против этих законов. Вот доказали им научно, что человек произошёл от обезьяны, – стало быть, так и есть; доказали, что человек – эгоист, пусть и разумный, и что счастье его можно рассчитать по табличке, – замечательно; доказали, наконец, что дважды два четыре, – и тут не поспоришь. Не так прост человек ретортный. Он смеётся над законами природы, нарушает их – и как раз потому, что понимает невозможность их нарушить; ему ценен его *каприз*, воля, желание поступать неразумно, невыгодно, во вред себе и назло законам природы. Он готов биться головой о стену – не для того, чтобы её проломить (это не по силам и природным здоровякам), а единственно с той целью, чтобы доказать *свободу* человека. И пусть это будет свобода глупости, свобода-идея, призрак – не важно: ведь только благодаря ничем не стеснённой свободе человек, собственно, и способен жить, а не влачить рассудочно-исчислимое существование, будучи всего лишь *штифтиком в органном вале*. Наконец, свобода эта, противоречащая здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, *сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность*.

Таковы, вкратце, рассуждения подпольного человека, его “диалектика”. Без труда можно заметить множество противоречий в этих рассуждениях, однако они носят вовсе не диалектический, а догматический характер. Вот некоторые из этих противоречий. Ретортный человек произошёл из реторты, а не из природы (реторга как лабораторный сосуд для химических опытов подчёркивает искусственное происхождение человека, или, вернее, гомункулуса, который, в отличие от своих средневековых прототипов, обязан появлением на свет не столько опытам невежественных алхимиков, сколько трудам просвещённых литераторов XIX века: ретортный человек – это человек, рождённый от *идеи*, в известном смысле выдуманный человек, incapable жить без книжки и вне книжки), но именно он *живее* всех остальных, потому что ему дано знание, *где живое живёт и что оно такое, как называется*. В финале «Записок...» ретортный человек смотрит победителем над костостью природных людей, попрекает их тем, что они стыдятся собственного тела и крови, – и забывает при этом, что в начале повествования сознавался читателю в том, что всего лишь мышь, загнанная в подполье и завистливо поглядывающая оттуда на телесное существование природных здоровяков. На первых же страницах «Записок...» ставится “парадоксальный” вопрос: “*Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?*”, и все понимают, что вопрос это риторический: разумеется, нет. Но потом усиленное сознание приводит подпольного

человека к утверждению собственной свободы, которая, пусть даже и в отрицательной форме, гарантирует сохранность его личности и индивидуальности – а это, оказывается вдруг, и есть *самое главное и дорогое* для подпольного человека. Но как же, с другой стороны, возможна эта личность? – спросит надоедливый и наивный читатель. – Ведь не говорил ли нам подпольный человек о крахе своей субъективности? И не смеялся ли он над всем прекрасным и высоким? Что же это – простое *ёрничество* и *каламбур*, а совсем не диалектика, и даже не размышления? Более всего обескураживает история с Лизой. Вот, казалось бы, мы видим риторного человека в реальной жизни, а не в кругу придуманных им мыслей. Жизнь всегда показывает, что есть что: на то ведь она и жизнь, а не одно только *извлечение квадратного корня*. Но что же мы видим? – Простую пошлость. И не только о ней идёт здесь речь – она ведётся от её имени. Пошлость не только главный герой и сочинитель «Записок...», но и их автор.

Разделение людей на две категории – непосредственно-природных и сознающе-искусственных отдалённо напоминает известное ницшевское деление людей на аристократов духа и чернь. Аристократы Ницше так же просты и цельны, здоровы и сильны, руководствуются такими же представлениями о справедливости и с такой же готовностью смиряются перед законами природы, как и *les hommes de la nature et de la vérité* Достоевского. Чернь обнаруживает ещё больше сходств с подпольным человеком – это и реактивная мораль, структурированная по принципу *ressentiment*<sup>1</sup>, и завышенное самомнение, выступающее в форме самоуничужения, и привычка постоянно лгать. Однако внешнее сходство скрывает собою более глубокое различие. Оно проясняется благодаря тому обстоятельству, что философским героем у Ницше является аристократ, в то время как у Достоевского – это всё-таки риторный человек. В одном случае мы получаем понятие о черни с точки зрения аристократа, в другом – понятие об аристократе составляется у нас при помощи объяснений черни. А это совершенно разные вещи. Стоит ли удивляться тому, что природный человек (разумный эгоист и т.д.) в «Записках...» – всего лишь грубая карикатура, нарисованная, к тому же, *со злости*? Или тому, что автопортрет подпольного человека тоже далёк от реальности? Очевидно, что в сумерках подполья нельзя ничего как следует рассмотреть – всё будет одно подполье, не больше. Кроме того, категорический императив подпольного человека обязывает его лгать, ибо только на лжи и держится моральный универсум, выход за пределы которого для него закрыт. Хотя однажды подпольный человек всё-таки говорит правду – тогда, когда в конце своих «Записок...», по сути, упрекает непосредственных людей в том, что они не видят своего подлинного лица, боятся этого, принимая свою *трусость* за *благоразумие*. Он призывает их взглянуть на себя пристальнее, довести *до крайности* то, что они привыкли доводить до половины; если же они поступят так, то увидят, что и они тоже риторные люди, ничем не лучше, а порою и хуже его самого. Правда здесь в

---

<sup>1</sup> злопамятство; злоба; горькое воспоминание (фр.)

том, что подпольный человек действительно не видит – не может увидеть – ничего, кроме себя же, отчего и судит о других по себе.

В конце XIX – начале XX вв. в России начинают знакомиться с философией Ницше. Процесс этот, как известно, был далеко не простым и привёл к появлению различных интерпретаций взглядов немецкого мыслителя. Почти все известные интерпретации – те, которые так или иначе повлияли на развитие русской культуры и философии на рубеже столетий, – характеризовались редукцией взглядов Ницше, доходящей иногда до полного их искажения. В чём же причина такого положения дел? Как отмечает Э.Клюс, идеи Ницше усваивались “благодаря промежуточным текстам, которые упростили и “перевели” идеи Ницше на понятный всему обществу язык”<sup>1</sup>. Таким понятным языком и оказался язык персонажей романов Достоевского. Именно Достоевского стали чаще всего сравнивать с Ницше, и именно в результате такого сравнения вульгаризация философии Ницше оказалась неизбежной. Общий негативный тон высказываний как цензоров, так и представителей религиозной философии, в адрес “русских нигилистов” послужил причиной тому, что и нигилизм Ницше стали воспринимать “по-русски”, а его самого – как оракула перевёрнутых истин, вдохновлявших легковверную и впечатлительную молодёжь на совершение различных аморальных действий и даже преступлений. Цензурное прочтение Ницше породило известный феномен “русского ницшеанства”, которое справедливее было бы рассматривать скорее как результат усвоения подпольной философии Достоевского, а не как попытку приложения к жизни философом Заратустры. Очевидно, что противостояние Достоевского и Ницше и дискредитация последнего при помощи произведений первого имели свой исторический смысл. Анализ этого противостояния и выяснение причин вульгаризации философии Ницше как нельзя актуальны, поскольку помогают не только понять историческую судьбу русской философии, но и заглянуть в её будущее.

---

<sup>1</sup> *Клюс Э. Ницше в России: Революция морального сознания.* СПб, 1999.